

## ГЛАВА 11

« **З**дравствуй, милая моя девочка, — начал Герц письмо. — Сейчас сержант разрешил нам заниматься своими делами, и я решил написать тебе не от себя, а от своего подсознания, что ли. У меня пять-шесть часов впереди, если не отправят на работы.

Я не видел тебя пять лет. Пять долгих лет. За это время успел окончить университет, теперь, как ты поняла, в армии. Это письмо будет написано и сожжено, потому что так надо. Знаешь, я не люблю страну, которой служу. Я тебя люблю, Леночка. Очень люблю. Моя Родина эмигрировала в Германию в 99-м вместе с тобой. Я потенциальный подлец и предатель, но ты об этом не узнаешь. Не узнаешь не потому, что я боюсь дискредитировать себя в твоих глазах. Я слишком сложный, чтобы все было так просто.

Представь, я без раздумий мог бы встать под знамена немецкой армии в случае войны Германии и России по одному твоему слову, чтобы сражаться за твою новую родину. Сражаться храбро и недолго; в первом же бою встал бы под пули, но это дела не меняет. Я Иуда и восклицательный знак. Войны, конечно, не будет, и ты никогда не стала бы просить меня ни о чем подобном, но все равно, все равно. Я бы мог стать ренегатом ради тебя. Уверен, что тебе как женщине было бы приятно услышать эти слова, а как человеку, который с такой болью отзывается на все, что

происходит в России, — нет. Вот думаю, кто бы в тебе возобладал, прочти ты эти строки. Мне бы хотелось, чтобы все-таки человек, хотя такой вариант уничтожает меня в твоих глазах. Вариант с женщиной мне выгодней, но я страстно хочу, чтобы все-таки — человек. Потому что я люблю тебя не только за внешность. Я люблю твою бесмертную душу, любимая девочка моя. Сказано, что соблазнам должно прийти в мир, но горю тому, через кого соблазн входит. Через меня он не просто входил — он врвался в мир, как голытьба 17-го года — в усадьбы дворян. В общем, это письмо будет сожжено. Я не могу, не имею права рисковать твоей душой. Я слишком люблю тебя, чтобы позволить обрушиться в нравственную пропасть вслед за мной.

По Интернету я писал тебе, что жить в России стало лучше. Я лгал тебе. Лгал, чтобы ты вернулась. Лгал и делал все возможное, чтобы ложь стала правдой. В нашей батарее служит пятьдесят человек со всей страны. У нас среднестатистическое подразделение; есть места лучше, есть и хуже. В общем, все в целом как везде: дедовщина, плохое снабжение, воровство и т. д. Но представь, что некоторым ребятам здесь лучше или так же, как на гражданке. И таких человек восемь наберется. Ты представь, что за воротами воинской части творится, если кому-то вполне комфортно здесь, в таких условиях, привычка к

которым, однако, помогает нам одерживать победы в войнах.

Я не просто не люблю страну, в которой человек держат за скотину и скотина не против. Я ее презираю всем своим подлым существом. Я бы разможил ей голову автоматным прикладом, если бы точно знал, где у нее голова. Только я не самый плохой гражданин. Я хотя бы не равнодушен к России, как многие. Для большинства ее вообще нет. Есть свои житейские радости, заботы, проблемы, а страны, того, что нас всех должно объединять, — нет. И с недавнего времени я даже никого не осуждаю за это, людям очень тяжело. Но мне больно, Леночка! Почему мне так больно, милая моя?! Ведь морального уroda презираю же! Только, пожалуйста, не думай, что во мне осталась капля святого, что я за что-то цепляюсь. Я предатель, но предатель честный. Не цепляюсь я вовсе ни за культуру нашу, ни за места великое прошлое, ни за что вообще. Они не перебивают скунсовый смрад нынешней действительности, они для меня еще больше ее усугубляют, насмешкой представляются. Больно мне, наверное, по известной причине. Всякая ненависть — это болезнь, разрушающая человека, так ведь?

И не на что опереться. И не просто не на что опереться, а уже и все равно, что не на что опереться. Выжжено все. Расхохотался бы, до какой степени все равно, если бы не ослабел от ненависти. Везде — завалы. Даже нет — не завалы. На руинах Союза построены новые здания из прочного камня. Попирают небо шпилями учреждения коррупции, продажного правосудия, казнокрадства, на которых почему-то написано “Налоговая инспекция”, “Пенсионный фонд”, “Арбитражный суд”. И вроде бы с голоду не умираем, как в Отечественную. А лучше б с голоду! Никто никому и ни во что не верит. А ведь мы с тобой застали первое постсоветское время, когда наши родители во все верили. Я так скучаю по той пусть и трудной, но по-детски наивной эпохе, в которой мы в чем-то не отличались от взрослых. А помнишь, как пацаны играли во вкладыши на подоконниках, а девчонки писали лирические стихотворения и загадки в толстые тетрадки, украшая поля плетеными косичками? Вспомни, какое значение придавалось этим милым глупостям. Вспомни, Лен, и улыбнись; ты так красиво это делаешь. Перед армией был в нашей школе, там уже ничем таким не занимаются. Я так расстроился из-за этого, а потом подумал, что новое поколение ребят совсем не обязано подстраиваться под наше с тобой про-

шлое, счастливое во многом. Что там — во всем счастливое, потому что детство есть детство.

Ты прости меня, бедная девочка, что я все о стране да о стране. Но ведь она меня с тобой разлучила! У всех любовные треугольники как треугольники, а у нас — я, ты, Россия. Я бы проклял свою страну, если бы в ней жил только я! Но ведь не только я, к несчастью. Иногда представляю, что ты не переехала из Красноярска в Кельн, а живешь со мной на Красрабе, в соседнем доме. Как прежде. Меня бы тогда и на тебя, и на Россию — на всех хватило бы!

Знаешь, а от любви до ненависти точно один строевой шаг. Вот точно, Лен. До армии, в университете, я был протестным патриотом. И таких, как я, было довольно много. Сначала меня удивляла анатомия этой странной любви, а потом все встало на свои места. Оказалось, это был просто юношеский протест. Вот вы не любите, а мы вам назло любим — вот и весь протестный патриотизм. А могло быть и по-другому. Вы любите, а мы вам назло не любим. В протестном патриотизме нет глубокого духовного наполнения. Он похож на крик выведенного из себя человека, в котором больше эмоций, чем сути. Такой патриотизм недолговечен, он может как вылиться в нечто большее, так и раствориться в житейской суете. Но мой не вылился и не растворился, а выродился в ненависть. Сначала я осуждал твоих родителей, которые эмигрировали в Германию в поисках лучшей доли для тебя и себя. Но потом понял, что не имею права никого осуждать. Что плохого, что запретного в том, что люди хотят достойно жить?!

В общем, я не хочу оставаться в стране, из которой уезжают любимые мной люди. Но и предателем, даже потенциальным, мне совсем не хочется быть. Мне не хочется быть даже эмигрантом. Не потому, что я такой хороший, а потому, что я так воспитан. Все претензии к родителям. Но мне не мат, а пока только шах. Надо просто сработать на упреждение. После учебки подам рапорт в Чечню и погибну там за то, что ненавижу. Смертью храбрых, как полагается. Может быть, даже стану героем страны, которую презираю. То-то похочу на небесах, как я всех вокруг пальца обвел. Леночка, я же трус и самоубийца. Ты не знала? Знай! Все смерти боятся, а я — жизни. И в этой стране, и вообще. У меня даже не хватает смелости покончить с собой без должного прикрытия, чтобы никто не подумал обо мне плохо. Поэтому и хочу обставить все по-людски.

Я даже боюсь заводить семью — представь? На фоне общей безответственности я гиперт-

ветственный в этом плане. Просто иду себе в прямом смысле до смерти, что делаю что-то не так для жены и детей. А вдову с ребятишками оставлять не хочется. Господи, что пишу?! Что пишу?! Господи-и-и. Я просто очень слабый. Дух у меня ни к черту. Душок, одним словом, которым тронут воздух на ранней стадии гниющей с головы рыбы. Но до Чечни должен дотянуть. Должен! Бедная Чечня! Кто туда только не устремлялся?! С какими только целями?!

Боже ты мой, и это письмо любимой девушке. Хорошо, что ты его не прочтешь. У тебя и своих забот хватает, чтобы такое читать. Лен, а знаешь, как я тебя полюбил? Я никогда не писал об этом. Это случилось в девятом классе. Ты по какой-то причине заплакала, во мне все перевернулось от жалости к тебе, а на следующее утро, проснувшись, я понял, что полюбил тебя за твои слезы. Если бы ты всхлипывала и сетовала при этом на кого-нибудь или что-нибудь, то, вероятно, моя жалость не переросла бы в любовь. Но ты плакала не так, совсем не так, как все. Ласково, нежно, светло и тихо струились слезы по твоим щекам. Так плачут не от радости, грусти или обиды, так плачут по утраченной красоте мира. А еще, проснувшись, я понял, что несмотря на то, что полюбил тебя за плач, ни за что на свете не хочу больше видеть его. Бывают же все-таки чудеса! Девочка, которая была для меня просто Ленкой-пенкой до девятого класса, вдруг распустилась, как цветок, — цветок, который оросил сам себя.

Тогда, на выпускном, я так и не решился признаться тебе в своих чувствах. Потом пришлось делать это через эл. почту. А может, не так страшно?! Леночка, может, не так страшно, что через почту?! Ну, успокой меня, пожалуйста, что не так страшно! Леночка! Я ведь измучился весь! Как вспомню — со стыда дотла, дотла сгораю! Ты ведь ждала, девушки всегда так ждут признаний! Но как я на тебя смотрел! Я не оправдываюсь — что ты! Мне только хочется, чтобы ты вспомнила, как я в тот день на тебя смотрел! Как метался — вспомни! Как мучился! Как вставал и садился! Как направлялся к тебе и за несколько шагов до самых главных слов в мире ложился на крыло, как самолет! И перегрузки я испытывал под стать летчику-испытателю, и даже сильнее из-за своей стеснительности, неуверенности и неопытности! Леночка, ты не могла не заметить, как я тебя люблю! Может ли, имеет ли право предатель любить так глубоко?!

А может, не Чечня? Может, к тебе переехать? Ты меня не любишь, я знаю. Ничего страшного.

Хорошо даже. Ужасно было бы, если бы ты любила подонка, ведь и так бывает. Да, переехав, я мог бы служить тебе. Как друг. Конечно, я не стал бы тебе другом, просто более или менее талантливо играл бы в него.

Знаешь, тут рядом Павлушкин письмо своей маме пишет. Вот он мне друг. Тут и играть не надо. Толкает меня все время в бок и спрашивает, как пишется то или иное слово. Мне от его тычков и грустно, и весело. Вот зачем ему орфография?! Думаю, что женщина, которая будет читать его письмо, такая же славная и безграмотная, как он сам, но он все равно старается. Вон сопит даже. Все у него должно быть обстоятельно. По отдельным словам, о написании которых он меня спрашивает, я уже имею сносное представление о его тексте. Много врет из жалости к матери, не хочет расстраивать ее. Грамотею-то, уж конечно, веры больше. Кто бы спорил?!

В общем, не смогу я к тебе переехать, Лена. Ты не поймешь моего поступка, за ненормального меня примешь. Лучше уж останусь в твоей памяти адекватным парнем. С 2002 года твои письма стали другими. И вроде бы ты не вышла замуж и ни в кого не влюбилась, а лучше бы так. Леночка, лучше бы так! Мне было бы гораздо легче. Я с болью наблюдал, как Евразия стала планомерно истончаться в твоих посланиях, уступая место Европе. Тепла в нашей переписке становилось все меньше, а болезненных родовых схваток — я их так называл по причине их чрезмерной тяжести для тебя из-за полярности резус-факторов наших стран — все больше. Пожалуй, тут я перебрал. В менталитетах России и Германии много общего. Я перебрал как радикально русский. Не смотри на меня так. Можно ненавидеть свою страну и одновременно быть плоть от плоти, кровь от крови ее. Так, я могу противиться тому, что моя фамилия Герц, но я же Герц.

Постепенно мы стали отдаляться друг от друга. Ты, наверное, заметила, что с 2003-го мои письма к тебе стали редки. Это не потому, что я стал забывать о тебе. Просто боялся быть неправильно понятым, чем-нибудь обидеть тебя. За своими словами стал следить, как шпион, хотя раньше такого за мной не водилось. Дыхание сбивалось после завершения писем, словно я не сидел, а бежал за компьютером. На смену легким секундным спринтам пришли изматывающие многочасовые марафоны — так я стал писать! Чуть литератором не стал от всего этого. 2 сентября 2004 года от тебя пришел ответ, из которого я почувствовал, что вот и настал черный четверг, когда мы с тобой начали говорить абсолютно на

разных языках уже не только в прямом, но и в переносном смысле.

В общем — Чечня. Может так случиться, что меня там не убьют. Ну что ж — тогда Россия навсегда и служба ей до последнего вздоха, чтобы на смертном одре сказать: “Страна, я имел полное право тебя презирать, потому что посвятил тебе жизнь”. Так по-честному. Государство все-таки бесплатно дало мне среднее образование и подарило любовь. Если учебу можно было бы отработать одиннадцатью годами безупречной службы, то за любовь мне придется расплачиваться до конца дней. В хорошем смысле расплачиваться, конечно. Даже не буду выезжать за границу на отдых, невыездым себя сделаю, чтобы потом не придирались к самому себе: “Помнишь, как ты любовался туманами Лондона, оставив Россию на целых две недели?” А чтобы даже не возникло соблазна куда-нибудь сорваться, надо просто быть нищим. В крайнем случае — бедным, в самом крайнем случае — представителем среднего класса; различия между этими социальными группами у нас не так уж велики. Как сегодня сказал Павлушкин, даст бог, и напрягаться-то не придется. В общем, обеднеть — не проблема, страна мне сама подыграет. Понимаю, что этот абзац звучит глупо, смешно. Я специально так написал, чтобы утопить в себе зарождающегося фанатика.

Или стать богатым и подарить тебе остров на Багамах? К деньгам я равнодушен, зато они не равнодушны ко мне. В университете мне удалось провернуть несколько крупных и — самое главное — чистых сделок. Я просто чувствовал, что в определенное время надо потребителю. Словом, могу заключить с нелюбимыми деньгами брак по расчету ради тебя. Вообще-то речь идет о твоей покупке, если ты еще не поняла. Чур не пугаться. Если бы ты поддалась на такую провокацию, то в этом не было бы ровным счетом ничего страшного. Но только в том случае, если бы ты — озолоти я тебя — не влюбилась бы в меня. Но ты ведь не сможешь полюбить меня за пухлый кошелек — правда? Я так рад, что здесь у людских душ стойкий иммунитет; они могут продаться за деньги, славу, власть и подобное, а полюбить — нет. Порой мне кажется, что если белый свет до сих пор и стоит, то во многом на этом. Знаешь, в чем заключается моя низость? Она в том, что только твое тело меня не устроит. Что тело? Тлен! Мне нужна твоя бессмертная душа со всеми ее удушьями и отдушинами. Я грежу о том, что принадлежит

только тебе и Богу. Каков подлец!.. Итак, раз не ты, значит — Россия...

Тебе может показаться, что я много на себя беру. Ты не права, любимая. С этой секунды я беру на себя все. Вообще все. Вся Россия теперь на мне. Прямо вся, что ли? Прямо вся. Ни клочка никому не уступлю, аж трясет от жадности, как Плюшкина. Не чувствуешь, как от строчек запахло духовно-нравственной приватизацией? Когда все не мое, а на мне — это и есть такая приватизация. И здесь никакого пафоса. Никакого героизма. Здесь вообще нет ничего мало-мальски стоящего внимания. На смену эре Материи грядет эра Духа, в которой подобные вещи станут обычными, как ежедневный восход и закат. Меня другое завораживает. В эре Духа тоже будут свои гении и злодеи, эксплуататоры и угнетенные, пассионарии и обыватели, глобалисты и антиглобалисты, только в рамках принципиально иной модели существования. Физической смерти перестанут бояться, а гибель души станет реальностью. Мы еще и в существование-то души не все поверили, а скоро невечность вечной доселе субстанции станет фактом. Это сегодня, пока мы только стоим у врат эры Духа, пока мы не вошли в нее, меня можно принять за романтика-идеалиста-альтруиста. Но уже завтра новейшие люди отнесут меня к реалистам-прагматикам-эгоистам. Разве я не эгоист, если от широты и долготы, глубины и высоты России напрямую зависит — всегда зависела и будет зависеть широта и долгота, глубина и высота лично моей души, настроение ее и самочувствие? Моей, Лена, души...

А я-то думаю, почему я так страдал, когда нелюди взрывали дома в Москве, захватывали детей в Беслане, прорывались в Дагестан? Из эгоизма, Лена. Из чистейшего эгоизма. Изверги мою собственную душу тогда терзали, топтали ее, глумились над ней, не давали ей успокоиться, воспарить ввысь и облететь вселенную от Альфы до Омеги. Не было у меня сострадания к несчастным, не было никогда. Я мечтал стать заложником в бесланской школе вместо Мадины из 1 “Б”, чтобы прекратить муки своей души. Своей, а не ребенка!

И при этом муки чудесными были, я еще такие хочу. После того как они охватывали меня до невозможности шевелиться и дышать, я начинал ощущать в себе такие силы, что мог набрать в рот Тихий океан, затушить им все пожары и рассчитывать, чтобы при этом не затопило и букашку. Я мог это все физически. Единственное, что мне было недоступно, — так это испытывать счастье от дарованной мне силы. Вот такие издержки. Теперь

даже не знаю, чего мне хочется больше: быть счастливым слабым стрижом или несчастным мощным брандспойтом.

Недолго осталось ждать того момента, когда я из герца трансформируюсь в ГЕРЦА. Космос способствует разрастанию тех, кто начинает жить горестями и радостями всего сущего. Предвижу наперед, что за Мадину из 1 "Б" ГЕРЦ во второй степени мне не светит, но до ГЕРЦА в первой возведен буду. Таким, как я, Космос ни в жизнь не доверит ни распахку целинных планет, ни подбор персонала на родившиеся звезды, ни пиар далеких галактик. Таким только на шести сотках вроде России навоз раскидывать, надеясь на то, что когда-нибудь он перегниет в удобрение. Может, и не перегниет. Ну и пусть. Важен не результат, а сам процесс, который не бывает отрицательным. Процесс — это движение. Ты думаешь, революция победила в 17-м, а фашизм проиграл в 45-м? Чуть собачья. Пока жив хоть один человек, который борется или не согласен, ничто не выиграло и не проиграло, все находится в процессе. Счастья мне на новом поприще, разумеется, не видать. А зачем мне оно без несчастья? Разве я смогу оценить счастье, не познав горя?

И пусть я даже не ГЕРЦ, а комарик, который вопьется в тело беззакония. Пусть! Тело не будет чувствовать себя спокойно, пока я на нем, такой маленький, сижу. Оно вынужденно будет хоть на несколько секунд оторваться от мерзких дел, чтобы прихлопнуть меня. Улечу ли я или буду раздавленным — зуд у беззакония еще на несколько минут останется. Кстати, бывают и малярийные комары. Те еще крохи. И нападать я буду днем и ночью, чтобы беззаконие не шлялось по Куршевелям, позоря нас перед соседями, а сидело дома, боялось и не спало. Это будет промежуточный результат, который меня вполне удовлетворит. Страх ведет к парализации мысли, бессонница — к замедлению реакций и притуплению чувств. Пожалуй, стоит давать беззаконию вздремнуть пару-тройку часиков в день, а то его чувства до того притупятся, что оно перестанет испытывать всю полноту страха или вообще его потеряет. Проверено на себе.

Теперь самое время взгрустнуть по поводу своей будущей судьбы. Никогда мне не быть добрым к добрым; быть мне злым к злым. Такое время. Однако, если присмотреться, не все так плохо. В силу характера в первом случае я все равно не ушел бы дальше любителя, а во втором — я профессионал уже много лет.

Я нравственно опустошен и проветрен, но будь я проклят, если кому-нибудь покажу это!

Не хочу, чтобы наше поколение называли потерянными. Декаданс?! Убожество?! Леночка, я люблю тебя так ярко, так насыщенно глубоко и возвышенно, как не снилось и Ромео на пике Ренессанса. И при этом у тебя вполне хватает внутренней силы оставаться равнодушной. Джульетта не может похвастать тем же. Она дрогнула и поддалась — ты стой! И я не огорчен. Я рад. Так величественнее... Если наше поколение назовут потерянным, то потомки будут обвинять нас в том, что мы ни к чему не стремились, ни на что не были способны. А как же тогда моя любовь к тебе?! Что о ней скажут?! Как ее озаглавят?!

Придет время, и начнется штурм нашей с тобой эпохи. Он все равно начнется. Через час. Через день. Через сто лет — не важно; эпоха не заканчивается, пока ее не сменил другая, более чистая или грязная. Победным будет штурм или провальным — не имеет значения. Никакого! Мне уже все равно! Славы хочу нашему поколению! Заработанной! Заслуженной! И заслуженной не силиконовым ртом, мусолящим члены сильных и гламурных мира сего! Изрешеченным за людей сердцем — славы!

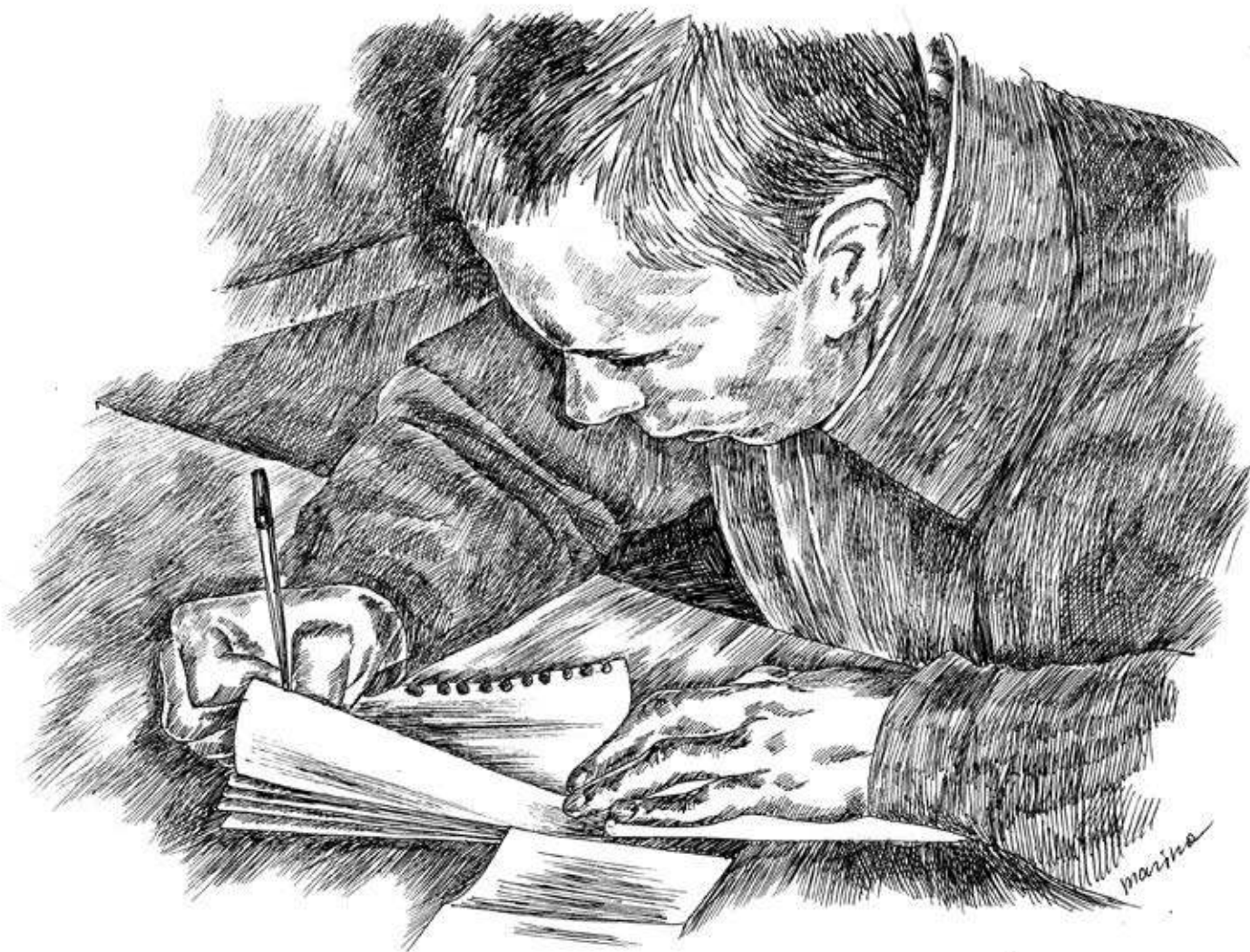
Об одном прошу Бога и дьявола. Вы же мужчины. Сделайте честную и открытую битву добра со злом в моей эпохе. Чтоб храбрецы с обеих сторон. Чтоб мужчины без женщин, стариков и детей. Чтоб без передышки. Без пощады. До последнего. Чтоб победители с почестями похоронили побежденных: над могилами одних — число зверя, других — кресты, полумесяцы и другие символы мировых религий. Чтоб слава живым и память павшим. Возможно ли такое?! Мыслимо ли?! Вполне! Более того, у меня хватает дерзости быть уверенным еще и в том, что битва впервые за всю историю пройдет бескровно. Души будут сражаться. Да, души. Погибшие тут же воскреснут для новой жизни, только для какой — вот в чем вопрос. Представь, что некоторые вообще не будут знать, под белыми или черными знаменами они встали. А иные — и таких будет большинство — станут биться за светлые и темные силы одновременно, то есть по существу эти люди сойдутся в смертельной схватке сами с собой. И все будет ярко и красочно, не так, как сейчас. Праведность и порочность возрастут непомерно, высокие чувства и низкие страсти выйдут из-под контроля разума, и, например, взявший чужое не станет хорониться от властей, а твердой походкой под барабанный бой черного сердца направится на центральную площадь своего города, чтобы храбро заявить во весь голос: "Я вор! Кто на меня?!" И на него выйдут. Или он сам на

себя выйдет, если в его дивизии "Совесть" осталась хотя бы взвод гвардейских штыков. Грядет такое, такое, что меня бросает в жар!

Я видел фильм "Освобождение", великую Сталинградскую битву. Знаешь, многие мечтают о деньгах, домах, машинах, а я хотел бы оказаться в Сталинграде 42-го. На любой стороне, не имеет значения. Я постараюсь объяснить почему, но ты все равно ужаснись, хоть ты и немка. Все относительно. Жили настоящие люди и в сталинской России, и в гитлеровской Германии. И там, в огненном городе, мне было больше жаль немцев, которых война сделала нечистью. Нашим было легче. Господь не допустил, чтобы бойню развязал Союз. Нам крупно повезло, что сталинизму в отличие от гитлеризма хватало пищи на собственной территории. Это прозвучит страшно, но так лучше; массовые репрессии уничтожили миллионы наших людей, чтобы проредить безбожный

народ и не дать ему разлиться зомбированной лавой далеко за пределы Советов.

Немцы, если бы меня спросили, с кем бы я хотел пасть под Сталинградом, то я бы ответил, что с вами. Вы слышите — с вами, несчастные! С вами, даже если тогда среди вас был всего лишь один настоящий человек! Но с вами я хотел бы только погибнуть, потому что злу, которое вы в тот момент собой олицетворяли, нельзя было одерживать верх. Прости, Лена, но в 42-м я бы стал рядовым немецкой армии не ради тебя, а для того пусть и единственного славного немца. Чтоб поддержать его перед смертью; тяжело погибать в снегах России за зло. И я бы ни в кого не стрелял. Клянусь — не стрелял! Просто находился бы в гуще событий и упивался бы тем, что хотя бы для двух миллионов мужчин, погибавших рядом со мной, и двух миллионов женщин, ждавших мужей с фронта, не имеют никакого значения ни



деньги, ни власть, ни карьера, ничто. И утешал бы соседя-немца: "Ты обязательно вернешься к фрау Миллер. Вы будете пить кофе на веранде своего дома, слушать воркование голубей и читать Гете". Иногда я говорю так, что мне нельзя не поверить. И немец, поверив мне, спокойно бы погиб на исходе дня. А потом пришел бы и мой черед возле одного из тех стойких домов, которые после окончания войн получают имена сержантов и не восстанавливаются, даже если надо экономить городские площади.

Перечитал написанное, Лена, и остался недоумен собой. Что-то я моментами представлен не совсем уж законченным парнем, а это неправда. Ближе к делу. Мне нравится гитлеровская форма. Форма, а не содержание. Все на немецком солдате времен Второй Мировой выглядело строго, лаконично и красиво. Наша форма по сравнению с гитлеровской смотрелась безвкусно, дешево и мешковато. Особенно меня привлекают немецкие каски, их плавные изгибы на затылке и воинственный стальной блеск. В детстве во время игр в войнушку я воевал за немцев только из-за того, что их каски красивее наших. Это я к тому, что уже в школе с тобой учился циник и ренегат. А еще к тому, что я с раннего детства умею проигрывать, так как фашисты в мальчишеских играх не могут победить по определению. И пусть я регулярно падал в грязь, получая под дых от многочисленных партизан. Пусть меня частенько пороли или ставили в угол за то, что не берег одежду. Мне было все равно. Каска того стоила.

А под Сталинградом... под Сталинградом противники проявили мужество. Хорошие убивали хороших, плохие — плохих, хорошие — плохих, плохие — хороших, чтобы мир содрогнулся оттого, как могут исходить кровью правда и кривда, когда обеим надо самоутвердиться за счет друг друга. Люди уничтожали себе подобных за чудовищные идеи лицевых и изначных злодеев наверху, словно хотели свести численность обеих армий к нулю, чтобы в будущем некому стало воевать. Просто некому. Это единственное, что сознательно, бессознательно или подсознательно могли сделать мужчины для своих народов. У них не было другого выхода, раз так стряслось, что ранее они не нашли в себе силы выступить против диктаторов у себя дома или чего-то недопонимали. Потому в Сталинграде солдаты и сражались, не щадя ни себя, ни других. Мне никогда не забыть, как в фильме по улице в полный рост шел наш матрос с автоматом. Уверен, что так он в реальности и шел. Грудь нараспашку и молчал, не перебивая ораторствовавшее оружие. Вокруг

матроса задушили враги и товарищи. Его самого вражеские задушили в рукопашной; тысячи людей в домах и на улицах города Господь толкнул в объятья друг друга, словно хотел в последний раз напомнить им, что все человеки — братья! Братья!

Лена, на той войне было надо, чтобы многие не выжили. Если говорить только применительно к нашим воинам, то люди, убивавшие людей даже за Родину, не имеют права гордиться собой, не могут называться героями; это противоречит всем вселенским законам. Не имеют и не могут, или этот мир летит в тартар! Сказано: "Не убий!" и "Любите врагов ваших!" без поправок на фронтовые ветры. В грядущем Царстве Истины, Добра и Справедливости, в котором не будет разделения на государства, про немцев скажут: "Они хотели создать империю зла". А про наших в лучшем случае скажут: "Они поступили так, как умели на то время". О подвиге же советского солдата не будет произнесено ни слова. Ни слова! Представляю, как ополчилось бы на меня наше общество, наша церковь, если бы прочли это письмо. Господи! Господи! Куда вторгаюсь?!

Еще вот о чем необходимо сказать, Елена. Несмотря на мою слабость, я сильнее многих и многих аморфных, слабовольных, безответственных и, в целом, довольно безобидных людей нашего поколения. Не я сильный, они тщедушные, так точнее. Они розовые, лопухие и пушистые, как игрушечные слонята. Они лакируют позолотой материальную и духовную нищету. Их идеалы — детские пустышки с изжеванными сосками и резиновые барби с фальшивыми именами. Пока не поздно, надо спалить и развеять по ветру их симпатичных идолов, разбить вдребезги их удельные мирки, чтобы к ним в души хлынул настоящий мир: огромный, кошмарный и прекрасный. Мир, где дети болеют СПИДом. Мир, где чудесные закаты над Средиземным морем бесплатные, Богом для всех созданные, всем принадлежащие, а не по турпутевкам купленные.

На землю надвигается зрелая, опытная, закаленная тьма, и мало кто готов к ее приходу. Она энергична, сильна, умна, красива, отважна и с виду вполне добропорядочна, как римлянин эпохи расцвета республики. В нее влюбятся. Ей будут поклоняться и приносить жертвы. У нее будут с наслаждением отсасывать гной, как любовницы отсасывают сперму у любовников. Проповедница беспрерывного сладострастия — вот новейшая тьма, авангардные части которой уже орудут в мире. Сейчас мы кричим: "Наслаждения!" А дальше возопим: "Наслаждения любой ценой! И тьма заломит цену — не сомневайся!

Микробы этой тьмы есть и во мне, поэтому мне страшно. Я даже заранее назову себя последней тварью, потому что, скорей всего, так и есть. Я, конечно, очень удручен, но не посыпаю голову пеплом. Если я исчадь ада, то меня можно изучать. Я могу быть полезен. Арестуйте же меня кто-нибудь! Что стоите, как нарушенные знаки ограничения скорости?! Назад сдаю и сдаюсь! Вот он я! Весь! Препарируйте! Все расскажу без утайки, всех сдам с потрохами: иссиня-черных, черных, чернявых, черненьких! Мне не привыкать быть предателем!

Я не достоин Вас, Елена Васильевна. Я из этих — из Иуд, Андриев и отмороженных Павликов. И на том спасибо, что хоть не одному куковать.

“Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут... Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывая как знаешь и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как в юные, беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает, что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, — знал ты эту тайну или нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей”.

Достоевский, любимая. Береги себя.

С глубоким уважением, Герц».

«Здравствуй, мама, — писал Павлушкин. — У меня все хорошо, служу по тихой грусти. Длинное письмо тебе напишу, времени вагон, а то ты жалуешься, что от меня сроду двух строчек не дождешься. Кормят нас хорошо и сытно. Сегодня даже не доели. Пацанам с пехоты свои порции отдали, а они нос воротят. Все зажрались уже, короче, так что не волнуйся, что мы тут голодаем. Готовят тут, конечно, не по-домашнему, но все равно нормально. Толченка часто с курицей, омлеты разные бывают, борщи наваристые на первое, пельмени даже дают. Пельмени покупные. Но ты попробуй на такую ораву вручную налепить.

Дедовщины у нас нет. Даже обидно как-то. Что потом рассказывать буду? Получится, что я вроде как не служил. Мама, ты только никому не скажи, что у нас дедовщины нет, а то меня засмеют. Я, короче, потом нашим деревенским врать буду, что дедовщина была, а ты посмеивайся себе в сторонке. Это будет наша тайна с тобой насчет дедовщины. Какие избиения — руку поцарапать боимся, чтоб не подставить кого. Сразу разборки: “Кто тебя поцарапал?” В иголки не верят, достают своими допросами. Веди, говорят, виновного. Ну, я и вынул виновницу из шапочного козырька. Она, говорю. Только, говорю, вы ее не ломайте, она мне еще сгодится. Офицеры засмеялись, а вообще насчет всяких царапин у нас серьезно. Иногда подрасться хочется, кулаки так и чешутся, но коллектив хороший, дружный. В общем, и рожу-то начистить особо некому. Я знаю, что тебя это порадует, а мне вот скучно. Ну, такой я у тебя, что теперь? Уж — я не знаю — можно же как-то по-другому реформы проводить, не так шустро и успешно, что ли, армия все-таки. А то какой-то детский сад получается: никого не тронь, тебя никто не тронь. Ходим, как интеллигенты.

Еще эти женщины с солдатского комитета по сто раз на день навещают, заколебали уже. Сегодня вот опять приперлись к завтраку целым полком нас подкармливать. Нет, это нормально, по-твоему, чтобы бабы мужиков защищали, к тому же — солдат? А если завтра война, кто воевать пойдет? Тоже бабы? Мне стыдно, что все эти комитеты солдатских матерей завелись, их по новостям частенько показывают. Какие мы им сыночки? Мы сыны им, а не сыночки. Обабить нас, что ли, хотят, под юбки запихать? Сыночков нашли. В мире вон как беспокойно, а сыночки потом сапоги врагам лизать будут, сестер под гадов подкладывать и улыбаться при этом. Еще раз комитет нагрянет защищать наши права, я им все скажу! Ладно, промолчу, обещаю, а то разволнуешься еще. Но из рук солдатских мам ничего не возьму. Скажу вежливо, что у меня все есть, а сверх положенной нормы мне не надо. Не переживай, в общем.

С дисциплиной у меня все в порядке, у кого хочешь спроси. Воинскую науку тоже осваиваю с успехом. Мог бы даже командовать артиллерийским расчетом, если бы захотел. Предлагали, да я отказался по причине того, что начисто лишен карьерных амбиций. Свое дело знаю, и довольно с меня. Мы нашу гаубицу тещей называем. Тещей потому, что хоть и родная, а изрыгается как надо. Представляю, как ты сейчас хохочешь. На 15 400 м лупит. Правда, на стрельбы выезжаем



очень редко, экономим снаряды. Снаряды — они только с виду снаряды, а на самом деле — касса, это деньги по-нашему. Выстрелил разок — и прощайте, несколько народных тысяч. Так говорят, по крайней мере. Пока ничего страшного, что экономия, только потом половина расчета в случае войны с непривычки к грохоту в штаны наложит и разбежится кто куда. Пока будем носиться по полю и отлавливать дезертиров, наступающая впереди пехота будет крыть нас трехэтажным. От нас не убудет, что она нас матом. А вот от пехоты реально убудет из-за того, что мы ее огнем не поддержали. “Ведь в мире все закономерно. Зло, излученное тобой, к тебе вернется непременно”. Я этот стишок на пересыльном пункте прочитал, когда добирался до места службы.

Артиллерист — самая безопасная профессия в армии, даже если в горячую точку попадешь. Так что и тут не переживай. Здесь у меня друг есть. Его зовут Герц. Так вот он все время говорит, что все великие люди были артиллеристами. Наполеон, Достоевский, Солженицын. Тут проще пареной репы. Если бы их убило, то они не стали бы великими. Я тебе больше скажу. Если ты артиллерист, то автоматически должен поумнеть. Я вот чувствую, как умнею не по дням, а по часам. Ощущаю появление и шевеление новых извилин. Наполеона из меня, конечно, не выйдет, но наш совхоз возглавлю, помяни мое слово.

Сегодня выступал на ОГП (общественно-государственная подготовка) на тему “Боевое товарищество”. Типа реферата такого. Рассказывал понятно, без заумных слов, которые в учебниках. С примерами. Сам руку поднял, проявил, так сказать, инициативу. Все слушали внимательно. Сержант Лысов поставил пятерку. То есть четверку. Я сам попросил, чтоб четверку. Не люблю выделяться, в середине держусь, как в школе.

Неделю назад был марш-бросок по полной выкладке на 15 км. Тяжело, но терпимо. Некоторые не выдержали. Семенов упал и занял, что расстреливайте, но дальше не побегу. Кузельцов сказал, что фееры (фееры или фейерверкеры — это артиллеристы в царские времена, так мы в учебке прозываемся) раненых не бросают. А Семенов как бы раненый получался. Мы должны были нести его на себе. И так тяжело, а тут еще кого-то тащить. Но мы не потащили Семенова, спасибо Герцу. Он Семенова пристрелил. Понарошку, конечно, магазины-то у нас пустые были. Герц подбежал к сержанту Кузельцову, посмотрел на него так, как только он может, и сказал: “Рана серьезная. Чем нести, лучше застрелить, чтоб не мучился”. И вса-

дил в Семенова очередь — мы и опомниться не успели. Скинул с плеча автомат, снял его с предохранителя, передернул затвор, прицелился и нажал на курок. Потом снял каску, опустил ее на колено, провел ладонью по остекленевшим от ужаса глазам Семенова, как будто закрывая их, и сказал: “Чтоб вороны не выклевали. Вернемся — похороним. Вперед!” И мы побежали дальше. Герц реальную кору отмочил, все было как взаправду.

Ладно, допустим, неделю назад Герц дал отдохнуть Семенову, пока мы бежали. Опять же мы Семенова на себе не волокли, тоже плюс. Все вроде грамотно, не придерешься, но вот как бы поступил Герц, если бы все это случилось в боевой обстановке? Он просто героем хочет быть, я так думаю. Только у него все шиворот-навыворот в этом плане. Об огненном мире мечтает, который полыхает без суббот и воскресений, и герои этот мир, типа, тушат с перерывами на перекуры в кулаки и похороны обугленных товарищей в закрытых гробах. Если с пожарами случится напряг, Герц самолично и подпалит что-нибудь, вот к бабке не ходить — пустит петуха. Прямо вижу, как он втыкает факел в наш сеновал и, сложив руки на груди, хладнокровно дожидается, когда пожару присвоят первую категорию сложности. Вторая-то его не устроит, ты что, чести при тушении мало. И только тогда, когда объявят, что первая, он возьмется за ведро. Ни фига! За ведро — ни фига! Ведрами любой дурак сможет, а он у нас особенный дурак. Он в дом полезет. Чтоб его там несущей балкой придавило! Не думай, мама, что я другу зла желаю. Наоборот — добра. Потому что он сам спит и видит, чтобы его в горящем здании чем-нибудь приплюснуло; так подвиг выше. Если у балки будут другие планы, Герц ее сам и подпилит, он такой. А потом, придавленный, типа, такой из последних сил вытащит котят, которых мы перед этим как раз хотели утопить; придется и правда грех на душу брать, раз им Герц сгореть не дал. Короче, экстренный пацан, для нормальной жизни не приспособлен. Если какое-нибудь ЧП, ему нет равных. Тогда он махом соображает, что делать, как в случае с Семеновым. Главню, детально все у него, быстро и без суеты.

А я не хочу всего этого. Не хочу мира в гари и копоти, в котором не люди, а гиганты живут. Не хочу быть героем. Кто тогда будет в казарме налаживать розетки и смесители менять? У гигантов же каждый день Армагеддон по распорядку, некогда им такой фигней страдать. А вообще Герц хороший пацан и верный друг. Мы с ним разные, как плюс и минус. И дружба у нас не сплюнявая,

а жесткая такая, мужская. Он беспощадного из себя корчит, типа, ни перед чем не остановится, если понадобится. Еще как остановится, пусть меня только не пытается залечить. Это у него вроде защиты — вкось в броню против врагов и на всякий случай — против друзей. Может, он и прав.

Пацаны писали, что Верка теперь с Витькой Коконным. На тачку, говорят, повелась. А как слезами перрон заливала, божилась — дождусь! Скоро Витька ее бросит, я тебе говорю. Он бросит, а я подберу. По-любому — уже пузатую. Ничего, забуду о гордости. Какая тут гордость, когда молодые девчонки делают аборт, а потом белугами воют, что Бог детей не дает. Кто-то же должен подстраховывать твиксы, пока у них в головах солома вместо мозгов. Этот кто-то — твой сын. Я уже все решил за тебя, Верку и Витька. Прости. А еще я Веру люблю, мама, очень люблю, больше жизни, и это самое главное — пойми. А лучше бы главным было то, что я против абортов, но уж как есть — я не святой. Знаешь, представляю эту сладкую парочку в “девятке”. Жалею обоих. Ей плевать, что он спец по железу и вообще здоровый пацан, который всегда жил мужиком. А ему плевать, что она добрая, любит детей, торчит в садике с утра до ночи, что-то все время разучивает с ясельной группой. То есть им на это как раз не плевать, но они плюют через силу, потому что она станет крутой среди наших, если будет гонять на тачке, а он будет крутым — ну, ты понимаешь когда. Оба сейчас нажрались в хлам от такой жизни и лижутся на заднем сиденье, которое все в дырах и мазутных пятнах; Витькина тачка так же загажена внутри, как наворочена снаружи. Какая уж тут ревность, жалость одна. Сейчас бы прижать обоих к груди, как малых детей, а перед этим конкретно навешать Витьке, с него больше спрос, чем с Верки.

Пишешь, что батя опять загулял. Сердце не рви. Загулял и загулял, что теперь? Мам, только передай ему от меня, что пусть не говорит, что во всем виноваты демократы. Совхоз мы сами развалили, что-то с Чубайсом я в районе деревни ни разу не пересекался. А вот батю с ворованной дробленкой видел частенько. Так хоть бы он по уму распорядился этой дробленкой, свиней — я не знаю — кормил. Тоже мне, хозяин. Хорошо хоть, гектары в мешки не засунешь, а то бы их тоже по амбарам растащили. За землю особенно переживаю, не знают ей настоящей цены. Как бы левые не пришли и не взяли ее задарма. Если кто-нибудь приедет скупать земельные паи, не вздумай наши продать. И накажи всем соседям то

же самое. Даже тем, с кем ты сейчас в контрах, накажи. Нет, тем, с кем ты в контрах, скажи, чтоб преспокойно продавали, так они точно не продадут. Ни в коем случае нельзя продавать! Дождись меня. Это приказ, мама. Не до того мне, что ты меня старше, что я люблю и уважаю тебя. Я приказываю тебе как старший. Продашь — спрошу жестко. Только бы успеть!

Теперь о Малом. Хочет кататься на мотоцикле — пусть катается, только скажи ему, чтоб следил за техникой. Хочет гулять до утра — пусть гуляет. Хочет на рыбалку с ночевкой — пусть шурует. Пацану четырнадцатый пошел, дай ему волю. И разрешай много, и нагружай работой по полной программе. Пусть его свобода растет вместе с ответственностью, так из него человек выйдет. А то, что он тырит яблоки в саду деда Антохи, — это ерунда, пройдет с возрастом. Я сам тырил. Батя тырил. Все деревенские у деда Антохи спокон веков тырили. Не для воровства — для адреналина, одно от другого отличать надо. Это такие воспоминания, ты бы знала. Как вернусь с армейки, скооперируюсь с пацанами и пойду к деду новые яблони сажать, чтоб воровство не переводилось. Сад-то у него старый, обновить надо. А вот деда Антоху, жаль, не обновишь. Уже не тот у него крик: “Я вам дам, стервы!”, сила в крике не та. И преследование с палкой такое, в котором мало азарту для мелюзги. Ты, мам, сходи к деду, что ли, варенье малиновое снеси. Он любит чай с малиновым, и от гриппа помогает. Без деда воровство яблок уже не то. Как сберечь старика для новых воришек — вот в чем вопрос. И еще вопрос: кто будет сад поливать, когда дед на ладан задышит? Подумываю о дневальных из старой шантрапы навроде меня. А что? Это вариант. А Малого пори как сидорову козу. До схождения шкуры.

Давай о чем-нибудь веселом тебе расскажу. Ну как о веселом? Короче, о веселом, потому что не знаю, как это даже назвать. Короче, есть у нас один пацан с Витебска, Ваня Жуков. Так вот он слепой. Ну как слепой? Не совсем, конечно, но дальше носа не видит. Как кутенок. Мы реально офигели, что таких призывают. Как заселился в казарму, тыкался во все углы, спотыкался везде. Потом выучил местность, перестал тыкаться. Сначала все думали, что он косит, пока его в парке не сбил газик. Знаешь, там машины курсируют в разных направлениях, режут, а нас туда послали какие-то агрегаты таскать. По звуку не определить, где кто едет, смотреть надо. И Ваню, значит, сбили. Благо водила вовремя тормознул, удар несильный. Орем на Ваню: “Жуков, ты че,

слепой?! Шары разуй!" А Ваня глазами хлопает быстро-быстро так, и видно, что, кроме сапог, разувать ему нечего. Тут и догнали мы, что Ванька-то наш кроту фору даст. Ничего не сделаешь. Раз призвали — значит, здоров. После того случая в парке он в основном сидит в расположении. Главню, не жалуется. Хороший пацан, добрый, всем помогает, чем может. Если он в казарме, и не скажешь, что он слепой. Он нам всем как брат. Если кто-нибудь сильно заскучает по дому или по своей девчонке, то подойдет к Ване и спросит: "Ванька, ты че, в натуре ни черта не видишь?" А он просто улыбнется в ответ и сигарету предложит, если есть. И как-то уже меньше скучаешь по дому. Тут человек ни черта не видит, а ты по дому скучаешь! Я даже окулисту из Ванькиного военкомата подыскал оправдание, потому что без Вани наша батарея была бы как Шушенское без деда Антохи. Окулист, наверное, подумал, что Ваня косит. Сейчас же все косят. Я и военкома ихнего оправдал. А что — нормальный мужик, хоть и на лапу берет. Сдался нам сын шишки Петя Иванов, вместо которого Ваня Жуков в армию загремел, когда слепой Ваня в тыщу раз лучше всех этих зрячих Петей вместе взятых.

Они думают, что наша армия станет слабой с калеками. Смешно, мама, до чего же они дауны. Точно знаю, что в бою батарея будет стоять насмерть, потому что рядом Ваня. Ведь если дадут приказ к отступлению, он не сориентируется, куда отступать, затупит и, как это всегда бывает с Жуковыми, перейдет в наступление. Я, конечно, не отступал ни разу, но, думаю, нам будет не до Вани. Надо будет перегруппировываться, отводить гаубицы и т. д. В общем, потеряется бедаола. Вот так трофей врагу! Слепой фейерверкер! На смех нас поднимут! Короче, придется остаться на позициях. Что касается нарушения приказа, то победителей, как говорится, не судят, потому что лично я проигрывать не собираюсь. Герц тоже. Фаненштилю тоже запахло. Мы будем беречь Ваню, как снаряды, которых всегда мало, потому что Ваня в шары долбится, но с нами. А когда он погибнет, мы будем беречь тело, какая нам разница? Пока все не поляжем! До последнего человека! До Семенова! Мы будем проговаривать каждое действие вслух, чтобы Ваня видел нашими глазами. Восемь танков по центру, Ваня! Отставить — округлились до десяти! Мы не будем ему врать, потому что он параолимпиец. И он бы не простил вранья ради нас же самих, потому что десять танков — это, к сожалению, не пять танков, но, к счастью, и не пятнадцать. Десять танков — это ровно десять танков, с ними и имей

дело. Увидели за себя и за Ваню, что десять танков, проговорили вслух для себя и для Вани, что десять танков, привыкли вместе с Ваней, что десять танков, смирились с тем, что танков уже ни за что не будет восемь, но запросто может стать двенадцать, и уже не так страшно. Это на случай войны, которой не будет, не волнуйся там. Меня просто понесло. Иногда как понесет — дурак дураком делаюсь, остановиться не могу.

Теперь по поводу Апрельки. Это самое важное, мам. Нельзя ее колотить. Я все понимаю, что она уже старушка, что срочно нужны деньги. Мама, сейчас всем деньги нужны, так что теперь? Мы и так у нее всех детей на мясо пустили, кроме Январьки. А молока?! Сколько, по-твоему, она дала молока?! Не скажу точно, но это Енисей по самым скромным подсчетам. Так ладно если бы дело было только в количестве этого Енисея, в этих, извини меня, мегалитрах. Качество-то какое у ееного молока?! Жирность какая! Можно ведро молока с ведром воды бодяжить, и тебе только спасибо скажут, что процентовку понизил. А как она тебя приветствует, когда ты в стайку доить заходишь? Заметь, ты, а не я. Замычит и голову на плечо положит, и по барабану ей, с дробленкой ты пожаловала или нет. Видишь, хоть и скотина, а непродажная. И гадила-то мало. Тут я за себя скажу. Бывало, зайдешь — и убирать-то нечего. Смотришь, смотришь по сторонам, а лепешек не видать нигде. Только по запаху, бывало, и определишь, что в четырех-пяти местах все-таки маленько не обошлось без казусов. Да и лепешки-то глаз радуют, правильной формы всегда, запашистые, с дымком зимой, румяные, как караваи, нигде не раздавлены, не размазаны по полу. Ну, иногда раздавлены и размазаны — так что? Корова-то у нас творческая и гордая. Если из-под ее хвоста не шедевр выходил, она сама, не дожидаясь критики, и стаптывала все копытами, по всей стайке, не лентясь, навоз разносила, чтоб я не смог ее творение в кучу собрать, как пазл какой. Ох, и гордая стерва! Ни за что после себя откровенного говна не оставит! За это, случалось, и стеганешь ее пятиколенным бичом, что чересчур уж гордая для скотины. А Лидкиного Лешку кто выкормил? Да если б не Апрелька, звали бы твоего внука рахитом, а не пузаном. Да не давлею я на жалость. Про заслуги я просто так, для статистики. Я даже согласен, что надо колотить, но как-то можно другой выход найти, я не знаю. Вон — можно мотоцикл продать. А что? Ты сама подумай, для чего Малому мотоцикл? Хочешь, чтоб он башку себе свернул? Он свернет, я тебе говорю.

Ладно, пора закругляться, зовут на рабочку<sup>1</sup>. Долго же я писал. Полтетради изнахратил. В общем, это письмо на полгода вперед тебе. Только для чего Герц писал — не пойму. Сидит рвет листы на мелкие куски.

Пока, мама. Всем привет от меня, перечислять не буду.

Твой сын Илья».

Перед самым обедом первое отделение арт-взвода было отправлено работать на продсклад и получило от Кузельцова приказ пустыми не возвращаться. Задача была с успехом выполнена. Сержант первого отделения был снабжен консервами и сгущенкой, но Герц в деле не участвовал. Это взбесило Павлушкина. Парни сидели в курилке на улице и одобрительно кивали на слова Ильи.

— Красавчик! — негодовал Павлушкин. — Не, нормально, по-твоему, что мы на рабочке задницы подставляли, а ты отсиделся, даже на фишке не постоял.

— Воровать больше не буду, — отрезал Герц.

— Вчера же все нормально было, тырил же, — продолжал возмущаться Павлушкин. — А сегодня че?

— Сегодня завязал.

— Значит, ты такой весь чистенький, как ангелочек, а мы такие, типа, уроды.

— Я так не говорил.

— Подразумевал, — поднявшись со скамейки, произнес Павлушкин. — В рай захотел на наших грехах въехать? Яблочки там покушать? Ананасики в шампанском?

— Ананасики — само то, — сыронизировал Герц.

— Ни фига — уголь будешь жрать!

— Активированный? После ананасов в шампанском-то — да-а-а.

— Не язви — каменный. В аду! Жрать и вагонетки с углем к топкам катать. Меня бригадиром к тебе приставят, чтоб не гасился. Я хотя бы у черта на хорошем счету, мне в бригадире — прямая дорога. А ты и перед Богом, и перед чертом обгадился... Нет, ты че думаешь, мне воровать по кайфу?

— Так и есть, — спокойно пригвоздил Герц. — Адреналин ловишь.

— Не спорю, но и ты тогда себе не ври. На нас — грешки, на тебе — грех конкретный. Ты ведь перед рабочкой че-то не очень-то нас угаривал, костями ни фига против кражи не ложил-

ся. Один раз котло-чалло так спросил: «Может, не будем, а?» Прямо, сука, боялся, что мы тебя послушаем, засек я по тебе. И никто тебе слова не сказал, хотя все сразу поняли, что минус один человек в деле. У всех мозги на раскоряку, как да че, да куда, а этот спокойно зашагал с чистой-пречистой, выглаженной со стрелками и вонющей «Ленором» совестью. Только от тебя не морозной свежестью несло, а дерьмом. И даже не конским и не коровьим, а мелким таким дерьмишком. Овечьими кругляшками — вот каким. Застраховался такой, ага. Тебе просто надо было и на земле, и на небе шкуру спасти. Ты хотел, чтобы мы зашарили для Кузельцова, а ты за счет нас — и по харе от сержика не получил, и перед Богом белым и пушистым остался. Я тебя расколол, а Бог, которого ты так боишься, и подавно... И как потом на небесах отмазываться будешь — даже не знаю. Это все твои проблемы, нас не касается.

— Бога не вмешивай, — произнес Герц. — Он в нашем буреломе, где сам черт голову сломит, не при делах. Который раз тебе говорю — не вмешивай Его в нашу сечку, пожалей Его. Устал я морально. И ведь хочешь новую жизнь начать — фиг начнешь. То пятое, то десятое, кругом тысячи правд и препон... Ну хорошо, хорошо. Я вложусь кассой за то, что не участвовал.

— А это тема, — зацепился Попов. — Расчет за сгуху и тушенку — по розничной цене, хоть и оптом брали.

— Это у тебя-то опт? — ухмыльнулся Павлушкин. — Две-то банки? Это у меня с Фаней — опт, а у тебя, Поп, — розница ларечная. Но Герц — да, пускай отбивается по розничной цене. Тут без базара.

— Хотя нет — кассу я не вам отдам, — подумал Герц. — Я на нее сгуху и тушенку куплю и передам натурпродукт Кузельцову. А то вы еще деньгами на воровстве разживетесь. Так с этого дня будет вноситься моя доля. Не доем кое-где, не докурю. Ничего — не подохну.

— Съехал-таки, — покачал головой Павлушкин.

За обедом Герц опять рефлексировал по поводу отказа от воровства и до того измучился, что потерял аппетит и отдал перловку Семенову.

«Хоть какая-то польза от моих самокопаний, — подумал он, но это не принесло успокоения — свежий сонм мыслей, порожденных новым поступком, вторгся в его голову. — Ну, отдал и отдал. Почему меня просто результат-то не устраивает? Тупо сам по себе результат? Ну зачем мне разбирать-то его по частям? И ведь не хочу — он сам разбирается. Сам! Отдал Семе-

<sup>1</sup>Работа (арм. сленг).

нову, обделил остальных. Буду сейчас думать, что обделенные, которые до этого были славные, всем довольные парни, — озлобились на Семенова, окрысились на меня за то, что кому-то досталось, а кому-то — нет. Вон как все исподлобья посматривают. Я опять не сделал ничего хорошего, только зависть за столом пробудил. Из ничего, из крупы какой-то. На этом я, конечно, не остановлюсь и обвиню Семенова в том, что он сразу набросился на еду и не поделился с другими. И вот я уже презираю Семенова, хотя прецедент был создан мной. А потом я дойду до того, что возненавижу себя за то, что презираю Семенова. А еще за то, что сам не догадался разделить на всех, а Павлушкин бы догадался. Вот уже и дошел. Господи, как жить с этим шершневым роем вопросов и мыслей? С юга, севера, запада, востока, северо-запада и юго-юго-востока на поступки смотрю. Зачем?! Зачем?! Столько душевных сил на это уходит! Неужели я и есть та самая слабая интеллигенция, изводящая себя на пустом месте? Интеллигенция, которая тысячу раз ничего не совершит, потому что еще до дела такие последствия надумает, которых и быть не может? А уж когда совершит, то лучше б и не совершала, потому что перемудрит непременно!»

## ГЛАВА 12

После обеда Павлушкин, Герц и Куулар стали готовиться к наряду по батарее. До 18:00 (время смены) у них было три часа: один — на приведение себя в порядок, два — на сон. Хождение в наряд приравнивалось к тяжелому бою в течение суток. Как помнит читатель, по стародавнему русскому обычаю перед сражением солдаты стирали военную форму. И тут, наверное, не обошлось без генной памяти; троица знать не знала об этом ритуале, но всегда соблюдала его. Парни выкроили время на стирку за два дня до наряда.

В 15:10 Павлушкин, Герц и Куулар пришли в умывальник с полотенцами на плечах. Они разделись по пояс, склонились над раковинами и занялись мытьем головы и торса, можно сказать, сакральным. Несмотря на то, что вода была холодной, курсанты не издавали восклицаний, не ежились и не фыркали. Все проделывалось в молчании полного сосредоточения. Потом пришел черед зубов, которые парни не вычистили, а, взбив пасту в основательную пену, выдраили, словно зубы были не зубы, а корабельные палубы. Далее для уничтожения лесных массивов на лицах были распечатаны новые одноразовые

станки, чтобы после вырубки деревьев не наблюдались даже пеньков. После качественной работы, близкой к выкорчевыванию, с помощью бальзама после бритья парни запустили на лица освежающий и обеззараживающий бриз.

Курсанты проследовали в курилку, чтобы заняться чистой сапог.

— Блин, чернил только на одного, — сказал Павлушкин.

— На меня, — безапелляционно заявил Герц. — Я на тумбе, почти не слажу.

Павлушкин и Куулар, переглянувшись, согласны кивнули и принялись чистить сапоги на сухую, выжимая из щеток остатки крема, оставленного предыдущими чистильщиками.

— Не слой — налет, — посоветовал Павлушкин, когда закончил. — Тряпкой натирать не резон, крем сотрем только.

— Не резон, — поддакнул Куулар.

— Вам не кажется, — сказал Герц, не обращая внимания на проблему товарищей, — что у Кузельцова погода на душе портится, тучи ходят?

— Злой после обеда, — согласился Куулар. — Плохо.

— Ну, и че предлагаете? — спросил Павлушкин.

— Сейчас, короче, вы отбивайтесь, а я тучами займусь, — ответил Герц. — Разгоню их или на жилетку себе пролью, пока конкретно не набухли.

— Давай, это по твоей части, — с радостью принял предложение Павлушкин и, зевнув, обратился к Куулару: — Пошли. Сказано — отбой.

— А Герц? — возразил Куулар. — Не поспит, что ли?

— Ну и че, — отмахнулся Павлушкин. — Зато у него кирзачи блестят, пускай отрабатывает. Впереди — куча засад. Всем еще не раз встревать. Сейчас он не поспит. Через два часа я удар на себя приму. Через три ты, Куулар, подставишься. Потом — опять ты, затем он, ты, я, он, я, ты, я, я.

— Я, я, — на немецкий лад весело передразнил Герц и подтолкнул товарищей к выходу из курилки. — Отбой! Через секунду не вижу вас.

Закинув ногу на ногу, в курилке сидел солдат, два товарища которого беззаботно уснули. Это был Герц. Он переживал редкие минуты кисельного сгущения силы и воли, пребывавших большую часть времени в жидком или газообразном состоянии. Ощущение пришло к нему внезапно. Он тихо радовался.

«Даже если потерплю фиаско с Кузельцовым, — подумал Герц, — пацаны даже не обостряются, потому что к их пробуждению я уже

расплачусь за провал достойной ценой — бодрствованием».

После этой мысли сила и воля Герца в секунды затвердели. Ему уже не было необходимо оглядываться на товарищей. Он стал свободным. Энергетические токи стали пронизывать его. Он чувствовал, что сейчас может легко разбогатеть, добиться руки любимой, стать президентом — стоит только захотеть. Чтобы не расплескать энергию, Герц не позволил себе рвать и метать, как это случалось с ним в ранней юности. У него было одно желание: продлить сладостное ощущение всемогущества как можно дольше. Он хотел досконально изучить это ощущение, чтобы потом вызывать его в любой момент. Герц закупорил энергию в себе, как газ в баллоне, и лишь чуть-чуть открыл вентиль для ее постепенного выхода. Его глаза вспыхнули, как конфорки, и засветились ровным огнем. Мысли о деньгах, любимой женщине, власти он предусмотрительно прогнал прочь. Из корыстных соображений. Из прошлого опыта Герц знал, что стоит ему в такие редкие минуты внутреннего могущества пойти на поводу у эгоистических желаний, и энергия быстро начнет испаряться; получится — ни себе, ни людям.

В данный момент на земле был только один человек, которого Герц считал сильнее себя. Он всегда боялся этого человека, завидовал ему, избегал его. Парня звали Митей Лукошкиным. Герц так не хотел, чтобы этот курсант из второго отделения ПТУР-взвода появился сейчас в курилке, что по закону подлости это неминуемо должно было случиться.

— Лукошкин, ты? — вздрогнул Герц.

— Я, Саня, — кротко ответил парень и опустил глаза.

— Зачем ты здесь?

— Подмести надо и туалеты помыть, — сказал Лукошкин, взял веник и принялся за дело.

— Тебя заставили?

— Попросили.

— Это обязанность дневальных, Митя.

— Мне не трудно. Пацаны устали, ночь не спали.

— Брось, ты их просто боишься.

— Совсем нет. Я не от страха вовсе.

— Не ври! Я их в порошок сотру, ты только скажи. Ваха припрег? Бузаков? Кто из них?

— Фара.

— Фара?! Фара тени своей боится, и ты выполняешь просьбу этого человека?

— А чем он хуже других? Он больше всех и устал.

— Откуда ты такой взялся?

— Дак с Вологды.

— Мудак с Вологды! — вспыхнул Герц, но тотчас устыдился себя, подошел к Лукошкину и похлопал его по плечу. — Ну прости, прости, Митя. Я не со зла. Но зачем ты? Зачем? Ведь это же запахло.

— Саня, ведь это просто так придумали, что запахло, например, очки мыть. Завтра придумают, что хорошо, и будет хорошо.

— Скажи, ты совсем не боишься унижения?

— Совсем, — смиренно улыбнулся Митя. — Неприятно только.

— Правда?

— Правда.

— А я боюсь, Митя. Я боюсь! До парализации.

— Зря. Оскорбления — это же просто слова.

— Просто слова, — отрешенно повторил Герц. — А боли? Боли боишься?

— Конечно, но в основном некогда бояться. Я же озадачен постоянно. Главное — что-то делать.

— А смерти?

— Сейчас — меньше космического ужина, даже меньше его, меньше всего. Можно сказать, что сейчас вообще не боюсь. Вот ты спросил, я подумал о ней, но не испугался. Смерть — она же когда-то потом. Может, в пятьдесят лет испугаюсь ее, а сейчас мы же молодые. Главное — точного срока никогда не знать. Иначе отсчет жизни не прямой, а обратный. Не один, два, три, а пятьдесят семь, пятьдесят шесть, пятьдесят пять.

— Мне тоже на боль и смерть плевать с недавнего времени, без понтов говорю... Кстати, а почему пятьдесят семь, пятьдесят шесть, пятьдесят пять, а не сто, девяносто девять, девяносто восемь?

— Просто для примера.

— Тогда просто скажи для примера: «Сто, девяносто девять, девяносто восемь».

— От этого смысл не изменится, ты же и так понял. Но если ты хочешь, тогда...

— Не надо, пусть как есть, раз так есть, — перебил Герц. — Не надо никому твоих уступок.

— Не понял.

— Ах, ты не понял! — Герц занервничал. — Все ты понял! Не смотри на меня так — спит! — Герц попятился к скамейке. — Чистый, да?! Я не верю тебе! Ты из гордыни! К примеру, на очки — из гордыни! Скажи, что из гордыни! Ты думаешь: «Вот вы не можете мыть, а мне не в облом. Через унижение возвышусь над всеми вами. Попробуйте, как я, и не сможете». Да, я не смогу! Тебе это надо?! Так на!

— Я не понимаю, о чем ты, — страдальчески произнес Лукошкин. — Я очень хочу понять, но не могу. Пусть будет из гордыни, только я не знаю этого слова. Прости, пожалуйста, девять классов ведь у меня всего. А очки — это не почетно и не западно. Очки — это просто ведь туалет и больше ничего. Мы же здесь живем. Самим же приятно, когда чисто.

— Но почему ты-то всегда на очках должен?!

— Не правда, другие тоже, вон хоть Семеновая взять из твоего отделения, Фару того же, — серьезно сказал Лукошкин, как будто не желал приписывать общие заслуги одному себе. — Но у меня лучше многих получается, я наблюдаю.

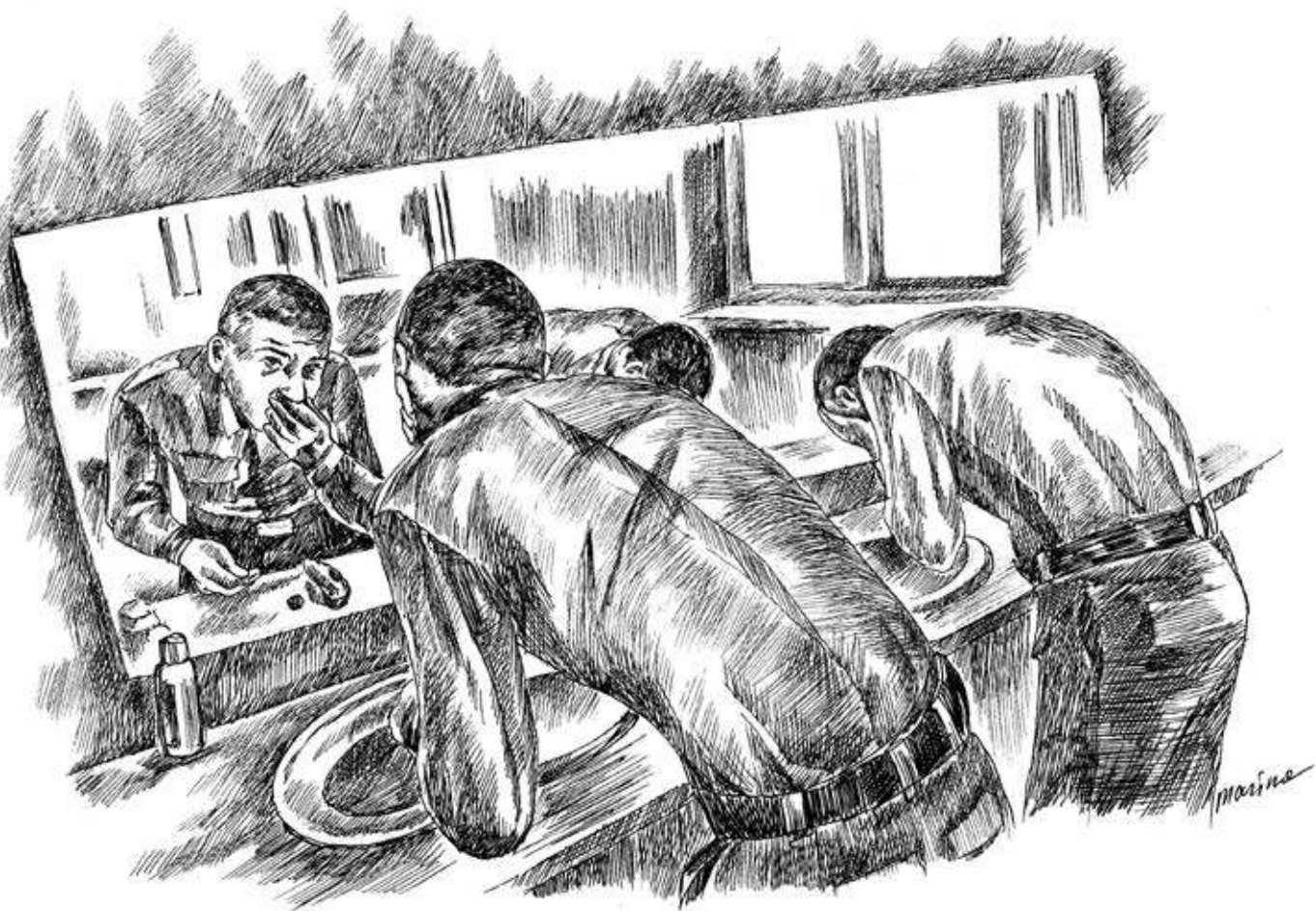
— Хоть хвалишься, — выдохнул Герц. — Ну, слава богу, а то уж я подумал, что ты...

— Да особо-то нечем хвалиться, — наивно улыбнувшись, перебил Лукошкин. — Очки мыть — это же не ракету строить, так ведь? Я просто небрезгливый, это важно в таком деле, а то, может, и лучше меня мыли бы.

— Уйди, — жестко произнес Герц. — Видеть тебя не могу. Зачем ты только приперся? Вали!

Лукошкин пошел к выходу. Какая-то непонятная сила заставила его обернуться у двери. Брови его подскочили, он конвульсивно хватанул ртом воздух. Глядя на него, по стойке «смирно», с рукой, приложенной к козырьку, стоял мертвенно-бледный Герц.

— Потерпи, позже придешь, решим твои вопросы, — мысленно приказал Герц сержанту Кузельцову, который (Александр не сомневался) тоже не спал перед нарядом. — Не все конечно, поживем еще. У нас есть Лукошкин, в которой и собирайся подберезовики, шампиньоны и всякий другой гриб. Жизнь за него отдам, убью, если понадобится. Он не молитвами, которых не знает, — жизнью своей меня отмолит. Полки таких пропащих, как я. Он, как зверь, инстинктом чувствует, как из болота выбраться. След в след за ним идти, прикрывать ему спину. О, он далеко не трус, грудь ему прикрывать не надо. Забежишь вперед — только потонешь в болоте. Вижу его



хотя бы и в бою: как очки моет, так и войну. Качественно. Обстоятельно. Терпеливо. Выносливо. Не яркими вспышками раз в год, а тлением изо дня в день. После войн у Лукошкиных только несущественные медальки на груди бренчат — «За взятие» да «За оборону». Но именно такие, как он, в конечном итоге изматывают врага и ломают войну.

И не вмешиваться в его дела, не приставать к нему с расспросами и мыслями, не пытаться облегчить ему жизнь — так только дезориентируешь его. Просто наблюдать за ним. Жизнь, здоровье его беречь и все. Оберегать таких, как Лукошкин, и есть, наверное, главная задача таких, как я. Лукошкиных чмырят, последними считают, а они русское ядро как раз и хранят. Таким, как я, надо стать первыми на поверхности, и не надо даже голову забивать, что мы на глубину не способны. Потому что в сложившихся условиях только мы одни, пожалуй, и можем, став первыми на поверхности, разнести по всей земле, что Лукошкины-то и есть первые по-настоящему, в глубине. Нас послушают, так как мы в отличие от Лукошкиных визуально сильные, на ощупь сильные, а стало быть, и лучше воспринимаем как сильные, хотя таковыми на самом деле не являемся.

И эту силу таким, как я, может быть, даже стоит несправедливо заработать. Да-да, несправедливо. Сейчас же население уважает воров в законе, олигархов и прочих. Ну что ж — придется податься в корявые кумиры. А потом на вершине власти, богатства и могущества крикнуть: «Не мы — Лукошкины есть настоящая сила!» А следом все деньги — на церкви, в детдома, нищим! То-то шок будет, и все нам поверят. Мы, конечно, на пути к власти, богатству и могуществу в аду места себе зарезервируем, зато удар вернее! Матерые грешники на арену праведников за ручку выведут — каково! То-то поразится народ! За эти минуты торжества можно и в аду попариться до страшного суда, а там, может, человечество за нас и словечко замолвит. А сильной мелочевке вроде честного мента, порядочного чиновника могут и не поверить, потому что они и так хорошие, а это скучно! Как на небе больше радости об одном раскаявшемся грешнике, чем о десяти праведниках, так и нам, злодеям, пришедшим с повинной, народ обрадуется и поверит скорее, чем добрым людям. Наш народ в этом плане на Христа смахивает. А праведники — это такая зевота на самом деле.

А без нас Лукошкиным конец. Как и нам без них. Противоположные чувства к этому курсанту испытываю: презрение и восхищение. Как так? Но

когда буду говорить, что он первый среди всех, никто не усомнится в моих словах, потому что в этом будет такая сладость лично для меня, что вот он я, такой весь из себя перец, а возвышаю Лукошкина.

Очки? Ерунда это, точно теперь знаю. Сегодня же можно страх перед ними уничтожить. Достаточно одному здоровому пацану, улыбаясь и насвистывая, на их мытье пойти, вперед приказа бодрым шагом пойти, как на перекур, как в чипок, как на самое обычное дело, — и рухнет сортирная власть над нами. В первую минуту все поразятся, и тут главное не ослабеть, самому не поразиться и прямо всем в глаза смотреть, как будто ничего особенного не случилось. Перед этим же самому свято поверить, что ничего особенного, потому как и впрямь фальшив Кощей, ничего сверхъестественного в нем нет, нашими страхами только и жив. Очки вымыть, но после этого нигде никого не подвести, не струхнуть в каком-нибудь по-настоящему важном деле, не затупить нигде. Тогда — победа.

Только надо ли сейчас? Убери очки, это нравственное насилие над личностью — останутся одни избиения, и Россия взвоет от тысяч и тысяч убитых, раненых и покончивших с собой. Очки — хороший сдерживающий фактор. Тот, кто соглашается их мыть, почти не подвергается избиениям, потому что и так наказан всеобщим презрением. Тот, кто идет в отказ, хоть и получает конкретно несколько раз, но потом попадает в разряд мужиков и не трогаются по мелочам. Каждый выбирает по себе. Очки — это не что иное, как громоотвод.

В курилку зашел хмурый Кузельцов. Сидевший Герц, как положено, поднялся со скамьи.

— Че не спишь? — с недовольством спросил Кузельцов.

— Не спится, товарищ сержант.

— А в наряде мозги мне будешь компостировать?

— Никак нет, вы же знаете.

— Отбой, я сказал.

— Так вы же тоже не спите.

— Я другое дело, а тебе — отбой.

— Не спится что-то.

— Мало тебя дrouchат, значит.

— Разрешите обратиться, товарищ сержант.

— Не разрешаю.

— Но я по другому вопросу.

— По какому другому? Я и первого-то не слышал.

— Пусть Семенов вместо меня поспит.

— Ты меня дrouchшь?

— Я из-за другого.



— Нет, ты че, не воссал?! — вскипел Кузельцов. — Тебе хлеборезку, что ли, поправить?!

— Или сразу бейте, или выслушайте.

— Что-нибудь серьезное или опять что-нибудь в твоём духе?

— Серьезное.

— Смотри, а то, в натуре, выхватишь<sup>1</sup>. Я не в настроении.

— Хорошо. Семенов близок к суициду. Пусть поспит вместо меня, нам в наряде проблемы не нужны.

— Он тебе че — говорил?

— Никак нет, отдохнуть бы ему, видон у него неважнецкий.

— И че? Он всегда такой.

— Лучше не рисковать.

— Ты как-то все это говоришь, как-то...

— Цинично, — сухо подсказал Герц. — Самый подходящий тон. Так я не иду вразрез со временем, а, значит, действую с высокой производительностью.

Кузельцов внимательно посмотрел на Герца, и вдруг сержанту открылось то, что раньше от него ускользало.

— Мутный ты тип, — исподлобья посмотрев на подчиненного, сказал Кузельцов. — Все в игры играешь? С простодушными-то людьми? Не со мной — с Павлушкиными да Семеновыми?

— Не понял.

— Все ты понял... Вспоминаю, как месяц назад ты в ступор всех вогнал. Историю с гашишем помнишь? Ты тогда нас грамотно перед кэпом<sup>2</sup> отмазал, что, мол, гашиш в батарею махра подбросила. И такие доводы привел, что даже я поверил, что мы с Армяном и Литвином не при делах. Мы тебе тогда целую гору ватрушек подогнали. И сам ведь сказал, что эту хрень с твоим рогом любишь. А че ты потом сделал? Все раздал, да кому раздал! Очкомоям и тем, с кем ты не очень контактируешь. А друзей обошел стеной. И все охренели от такого расклада, пацаны-то простые, институтов не кончали. Ну, с врагами-то вроде понятно — подмазывался к ним. А очкомоям тогда почему дал? И почему друзей обломал, на которых, по идее, надо опираться?.. Теперь-то я догоняю. Ты несколько зайцев разом разил. К врагам ты действительно подмазывался, но грамотно. Типа, смотрите, если бы только одних врагов, а то ведь и очкомоев тоже угощаю, так что не думайте там. Благо ватрушек

у тебя было хоть задницей ешь. Только не догоняю, почему ты друзей обделил.

— Друзей обделил, — сверкнул глазами Герц, — потому что хотел показать, что и они такие, как я, — не поведутся на хавку, потому как первые в батарее среди духов. Правда, я им навязал свою позицию навязал. Ну да не суть. А с врагами... Я скорее вербовал их на свою сторону, чем подмазывался к ним.

— Помню-помню, как Павлушкин на тебя взглянул, что, мол, а нам, нам — че не дашь? Этот вообще по простоте своей в полных непонятках был. А ты его жестко отшил. С врагами тоже, скорее всего, не врешь. Только зачем тебе все это?

— Чтобы было.

— А не восстание, случаем, готовишь? Как политик действуешь.

— Не 1825 год. 1817-й где-то.

— Типа, никто еще не готов?

— Так точно. Через годик с лишним сами «дедами» станем. Эволюционно. И свои порядки заведем... Откровенно разрешите?

— Че уж там — давай.

— Знаете, что меня сдерживает именно сейчас, в эту секунду, когда лично я готов к мятежу и знаю, как подбить остальных?

— И что, интересно? — свысока усмехнулся Кузельцов.

— Что батарея большинство сержантов уважает. Хоть тот случай взять, когда все сержанты за очкомоя Семеняка впряглись... Кроме изменщика<sup>3</sup> Котлярова.

— Смирно! — Герц сложил руки по швам и вздернул подбородок. — Не забывайся, обезьяна. Котляров — сержант, а ты — дух. Кто бы Котляр ни был, а чертить<sup>4</sup> при мне ты его не будешь. Как понял меня?

— Вас понял!

— Вольно! Че там с Семеняком — продолжай.

— Духи не могут не оценить, когда их из дерьма вытаскивают, а не только долбят почем зря. Хотя по большому счету вы за Семеняка бились, как плантаторы за негра-раба, так что лично я вам не аплодирую. Важно еще, что вас было в три раза меньше, чем дагов, однако никого из вас это не остановило. За исключением гвардии старшего сержанта Котлярова, у которого после известия о встряшке Семеняка вероломно подскочила температура. И ни одного из нас вы в подмогу, что интересно, не взяли,

<sup>1</sup>Получишь (сленг).

<sup>2</sup>Капитан (арм. сленг).

<sup>3</sup>Трус (сленг).

<sup>4</sup>Унижать, оскорблять (сленг).

хоть мы и просились. Это дорого вам обошлось, но вы потом ни разу не попрекнули Семеняка. Вы по праву правите батареей. Вы как древнерусские князья. Первые на пирах и в битвах. Меня это и радует, и бесит. Радует, что на войне с вами самое то. Бесит, что в мирное время я вынужден сносить от вас «обезьяну» через каждые пять минут.

— Договорись, Герц.

— Вы же сами на откровенность добро дали, вот и сливаюсь по полной. Мне и самому полегчало, что я говорю как на духу. Но раз не довольны — закругляюсь на этом.

— Тут я решаю, закругляться тебе или нет.

— В общем, если бы подавляющее большинство вас не уважало...

— То вы бы нас свергли, конечно, — спокойно сказал Кузельцов, показывая, что он все давно знает. — Старая песня, сам таким был, а потом в гости к своим сержикам на чаек заглядывал, пока сюда не перевели... Да и не свергли бы. Ты действительно можешь что-нибудь вытворить, когда у тебя вот так, как сейчас, глаза светятся. Но поднял бы ты человек восемь-десять — не больше. На словах бы тебя, конечно, все поддерживали, только после выстрела с «Авроры» с горсткой бы по-любому остался. А потом — бойня и, скорее всего, ничья, потому что нам есть что терять, а вам терять нечего. В итоге — двоевластие. Сержанты и свободные духи — с одной стороны, все остальные — с другой. Ох, и не сладко пришлось бы потом всем остальным. Их драчили бы и мы, и вы. Мы — по привычке, а вы — за то, что вдесятером бились. Устраивает тебя такой вариант? Семенова гноблю уже не только я, но и... Скатов, например. Он бы жестко спросил с тех, кто остался в сторонке. Он бы никому не простил, он бы, сука, убивал людей. Он же еще не готов к власти. Он бы озверел совсем, потому что власть ему не по наследству досталась, не законным порядком, а путем крови. Его крови. Ты этого хочешь?

— Никак нет.

— То-то же, — было произнесено так, что Герц готов был поклясться, что его не ставят на место, а по-человечески предостерегают от непродуманных действий. — Может быть, что-нибудь новое для тебя сказал?

— Никак нет.

— А че тогда выеживаешься? На словах только горазд. — Кузельцов резко подался вперед. — Че не кидаешься на меня? Слова одни. И боишься, и не боишься, сам не знаешь. И хочется, и колется, и черт знает что.

— Вы не...

— Пасть завали. Надел ты мне. С ничьей я пошутил, чтоб ты еще раз подумал, что из нее выйдет. Не было бы ничьи. Мы бы привлекли сержиков с других рот. Они бы нам помогли вас окупить, и при самом хорошем для вас раскладе вы бы зажали сами по себе. Это, может быть, устроило бы Фаню и Павлуху, но только не тебя, мутного типа. Ты бы наблюдал со стороны, как увеличилась нагрузка на Семенова, Календарева, Фару, Лукошкина, и метался бы, потому что в книгах пишут, что нельзя жить спокойно, когда другим плохо. А ты прочитал так много, до того напичкан всякой правильной хиромантией, что уже не можешь не метаться. Короче, все это мне уже не интересно... Вот о чем спросить хочу. Признайся, что по большому счету тебе на всех плевать. Ты все делаешь хоть и красиво, но исключительно для себя. А хорошим ты хочешь быть только потому, что хорошо быть хорошим, а плохим — плохо.

— Приятно иметь дело с умным человеком. Только введу поправку. Не для оправдания. Для прояснения Герца для Герца. Сердцем для себя делаю, мозгами — для других, потому что сердце хищное у меня, а ум — травоядный. Пока так. И вообще я способен на чистые порывы. И пусть они пока не продолжительны по времени, но способен. И вообще факт остается фактом. Какие бы ни были мои мотивы, эгоистические или нет, а ватрушки раздал, в одну каску не сточил<sup>1</sup> их, хотя мог бы.

— А не тяжело вот так вот не от чистого сердца-то?

— А кому сейчас легко? Во-первых, как вы правильно поняли, играю я, как в театре, мне интересно. А во-вторых, от чистого сердца и дурак сможет, а вы из эгоизма попробуйте, насильно. Напоминаю, что из эгоизма ватрушки вообще-то жрут, а не другим раздают.

— Хэ, напоминает он мне, — ухмыльнулся Кузельцов.

— Прямым текстом говорю, сами же отмашку дали, так что за каждым словом не пасу. А правда сурова и не так красива и обаятельна, как иная ложь... Так поспит Семенов или нет?

— А на этот раз какой мотив?

— Как обычно — эгоистический.

— Расшифруй.

— Так яснее ясного. Если Семенов мне ничего взамен предложить не может за то, что я свой сон ему отдам, кроме разве что благодарности, которая мне ни во что не упала от такого, как он,

<sup>1</sup> Съесть (сленг).

значит, я просто перед вами повыпендриваться со знаком плюс хочу.

— Тебе не выгодно.

— Как не выгодно?

— Так. Ты же знаешь, что меня достали твои странности. Можешь и по харе ведь отхватить.

— Так от этого мой рейтинг в ваших глазах еще больше вырастет. По сути, за правду же страдаю.

— Хитер, лис. А больше никаких мотивов?

— Пока ничего в голову не приходит.

— Даю пять минут, чтоб заглянуло, а то обломаю Семенова.

— Закурить разрешите?

— Разрешаю, но мотивы чтоб позабористей, а не херня на постном масле.

Герц закурил сигарету и призадумался. Как назло, эгоистические мотивы ему на ум не приходили. Наоборот, в голову лезла какая-то чепуха вроде «сам погибай, а товарища выручай», «возлюби ближнего своего, как самого себя» и другая альтруистическая дребедень, которая только испакостила бы все.

— Время, — сказал Кузельцов.

— Я ничего не придумал, — пожал плечами Герц.

— Семенов обломался.

— Уже по фигу.

— Как это уже по фигу? — удивился Кузельцов.

— Порыв истощился. Слишком много разговоров. Из-за этого.

— Вот это да, — опешил Кузельцов. — И че теперь делать?

— Тут ничего не сделаешь.

— С тобой, обезьяна, че делать?!

— Не могу знать.

— Я знаю. Кровь тебе надо пустить во врачебных целях.

— Так точно, — вполне согласился Герц и даже счел своим долгом добавить: — Когда бить будете, не вините себя. Я сам напросился.

— Это уже ни в какие рамки не лезет. Молись!

— Не помешает, — сказал Герц, и губы его зашевелились: — Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Рука, которую Герц приставил ко лбу для наложения креста, смягчила сокрушительный удар в лицо. Грохот, издаваемый полетевшими на пол ломками, лопатами, скребками, граблями и скамейками, услышала вся батарея. Надо отметить, что горизонтальное положение зачастую принимали оба солдата. Неужели Герц посмел оказать сопротивление? Отнюдь. Просто сержант так разъярился, что полностью утратил контроль над

собственным телом. Он то и дело обо все спотыкался и пластом обрушивался на пол. Помимо этого сбился и его прицел. Вместо Герца, который ловко увертывался, руки и ноги Кузельцова часто проваливались в пустоту и увлекали своего хозяина вниз. Происшествие в курилке совсем не походило на избиение. Скорее, это был футбольный поединок. Один играл от атаки, другой — от обороны.

Возпревшие и раскрасневшиеся Герц и Кузельцов умывались над раковинами. Неожиданно они посмотрели друг на друга.

— Че надо? — опершись на раковину, как преподаватель на кафедру, спросил сержант.

— Ничего, — отвернувшись и уставившись на свое отражение в зеркале напротив, ответил сержант.

— А че тогда?

— Не могу знать.

— Мало, наверное, тебе.

— Никак нет.

— А я думал — мало.

— В самый раз.

— Иди Семенова отбей.

— Семенова?

— Тебя че, глушит? Семенова, да.

— Разрешите спросить почему?

— И Календарева отбей, — прозвучал новый приказ вместо ответа.

— Спасибо.

— Че-е-е? — возмутился Кузельцов.

— Поблагодарил просто, товарищ сержант.

— Слышь ты, умник. Это не из-за тебя, а то решишь еще. Я просто армию ненавижу. Я ей удовольствие не доставлю. Положено спать четверем бойцам до наряда, значит, будут спать четверо. Как положено. А то как заваруха, так спускают с цепи бешеных псов ББР. В двух кампаниях уже были. Может, и в третью закинут. Нас пользуют во все щели, а мы еще спим не как положено в численном отношении. Ты не хочешь спать — вот будешь тусоваться. А эти два туловища отбей.

«Хороший ты мужик, сержант, а тебе это даже сказать нельзя, расценишь как подлизывание... и справедливо, и вообще слова иногда только все испакостят», — тепло подумал Герц, а вслух роботом:

— Разрешите идти?

— Бегом марш!

Герц прошел в расположение. Подойдя к Павлушкину, осмотрелся. Посторонних глаз не было, и он поправил одеяло на товарище.

«У-у, раскидал клешни, — с теплом подумал Герц о друге. — Мамку, что ли, во мне увидел,

поправляй тебе. Задачу я выполнил. Кузельцов думает, что он разговором рулил. Ни фига — я рычажки дергал. Он хоть и танк добрый, да и я танкист старый. Снаряды в молоко расстреляны, выхолостил я его. Где надавил, где прогнулся, как дипломат. Прикинь, он всерьез думает, что распознал меня. Пусть думает. Я сам-то себя не знаю. Я бы даже обрадовался, если бы он меня раскусил, прояснил бы меня. Но чтоб четко: где плох, где хорош, где силен, где слаб. Даже если бы я совсем чудовищем вышел, то только спасибо бы ему сказал. Мне плацдарм моей души нужен, чтоб с него наступление развивать. Тут у тебя, Герц, пехоты два батальона, тут у тебя понтона нет, здесь пять новых гаубиц без обслуги, там санбат по последнему слову медицины, там бреши, там дезертиры, там перебежчики. Но не вышло у него. В конце, Павлуха, получил я, рочечу, по харе. Как оказалось — к лучшему. Сначала умственно, потом физически его погонял. Ништяк, дурь вышла. Из обоих. Спите спокойно».

Семенов и Календарев никак не хотели верить Герцу, что им разрешили поспать. Александр кое-как заставил парней раздеться и лечь. Парни улеглись по стойке «смирно», вцепившись руками в края простыни возле подбородка. Их глаза были выпучены. Если они и хотели спать, то сейчас явно перехотели. Чтобы не разбудить Павлушкина и Куулара, Герц тихо уговаривал Семенова и Календарева, как воспитатель детсада:

— Спите. Ну, спите же.

— А почему мы? — приподняв голову, испуганно спросил Календарев. — Саня, скажи ему, что мы ниче не накосячили вроде.

— Сань, скажи, а, — присоединился Семенов. — Ты с ним хорошо живешь.

— Да вы че, пацаны, — произнес Герц. — Ровно все. Я вам говорю — ровно. Вы вместо нас с ним отбиваетесь, так он мне в курилке сказал. Никакого подвоха.

— А можно мы не будем? — попросил Календарев. — Можно не будем, а?

— Нельзя! — отрезал Герц. — Раздраконите его.

— Тогда мы просто с закрытыми глазами положим, — зашептал Семенов.

— Без палева, — прибавил Календарев и зашмурился.

— Как знаете, — вздохнул Герц. — Вижу, фляга у вас конкретно свистит, как дети малые.

Расстроенный Герц прошел в бытовку, оперся на подоконник и стал смотреть в окно.

На плацу по нарисованному квадрату маршировал проштрафившийся обоз. Перед выходом

на улицу с солдат были сняты бушлаты, ремни и портянки.

«До ночи теперь будут, а потом, как обычно, оборона батальона, окапывание, огня не разводить, светомаскировка», — подумал он и произнес вслух:

— Зато всегда судьбой управляете. Удачи вам, пацаны.

## ГЛАВА 13

Началось...

— Куулар, подъем, — тихо сказал Герц и затряс товарища за ногу. — Павлуха, подъем! Семенов! Календарев! — сказал он уже громко.

— Уже? — заворочавшись, пробубнил Павлушкин с недовольством.

Семенов и Календарев сладко потягивались. Их лица были опухшими.

«Все-таки уснули, черти», — радостно подумал Герц и ответил Павлушкину:

— Давай поглупей вопрос, а то че-то умные задаешь.

— С какой стати там и сям? — не разочаровал Павлушкин, рывком сел на кровать и быстрыми движениями вверх-вниз стал растирать лицо ладонями.

— А эти суициды че тут делали? — начав одеваться, спросил Куулар у Герца, мотнув головой в сторону Семенова и Календарева.

— Отрабатывали нахождение в засаде, — ответил Герц. — Учились лежать тихо и смирно.

— Спали, — перевел Павлушкин. — А еще тренировались подражать звукам коней, тоже для разведки полезно... Чую, замутил ты тут, Герц.

— Время? — спросил Куулар.

— Деньги, — ответил Герц. — 18:06. Через девять минут принимаем казарму, так что — в темпе.

— Кузельцов как? — задал вопрос Павлушкин.

— До отбоя — шелковый, — пообещал Герц.

— Негусто, — попенял Павлушкин, но закончил жизнеутверждающе: — По хрену гололед. Зато время быстрее полетит.

В начале приема дежурства свежие Павлушкин, Герц и Куулар сразу обрушились на уставшую предыдущую смену, не давая ей опомниться. Они всегда взводились до предела перед тем, как заступить в наряд по батарее. Веселье и злые, они шныряли по расположению и придирались к каждой мелочи, готовые растерзать дневальных-предшественников, если те откажутся устра-

нить какой-нибудь недочет. Все трое машинально заломили шапки и затянули ремни на кителях так, что набирать воздух в легкие они могли теперь только небольшими порциями, а выдыхать — половинками этих порций.

— Бушки<sup>1</sup> у тебя валяются, — сказал Павлушкин дневальному Вахрушеву.

— Где?

— Срифмовать?

— Ты че?! Глаза разуй, вон на вешалках висят.

— Не параллельно друг другу. Все, что не параллельно, то валяется, сам знаешь. Идиправляй.

— А смысл, Павлуха?

Через час все равно в столовку топать.

— Смотри сам, Ваха. Если через тридцать минут наш сержик наряд не примет, то отпоем вас всей бражкой минут через сорок-пятьдесят. А он не примет. Потому что я не приму!

— Вы больные на всю голову! До всего докапываетесь!

— Вы, блин, здоровые! Вчера желтого карандаша в канцелярии не досчитались, так такой кипеж подняли, как будто синего или красного — я не знаю — не хватает!

— Желтым РХБЗ в расписании подчеркивается!

— Из-за линии в сантиметр, которая раз в неделю проводится, заставили пацанов по всей бригаде полкать! Совесть не мучит?!

— А че делать?!

— Че делать, че делать?! Синий с красным соединить — будет фиолетово!

— Очень смешно.

— Будет еще смешнее, если мы казарму не примем. Обхохочетесь в курилке.

В бытовке обнажились мечи. Бузаков выхватил штык-нож из ножен, Куулар — заточку из-за голенища сапога. Бойцы стояли напротив друг друга

на расстоянии вытянутой руки. Их ноздри расширились и сужались. Они шумно сопели, как сказочные драконы. Их глаза светились ненавистью. На этот огонек и заглянул Герц. Он взял табуретку и бесшумно подошел к Куулару, который стоял спиной к двери и не мог видеть входящих.

— Тува, убери заточку, — сказал Герц. — Не надо резких движений.

— Он первый начал, — был ответ. — Я его убью.

— Дернешься — голову раскрою, — предупредил Герц. — Брось заточку и отпихни ее назад.

— Ты за кого? — спросил Куулар. — За него?

В голосе тувинца прозвучала мальчишеская обида. Герц покачал головой и подумал: «Пацан пятилетний... А ведь с ножом стоит».

— Он тупой, — сказал Бузаков.

Тувинец дернулся вперед. Герц схватил Куулара за китель, рванул товарища назад и, резко переместившись, встал между курсантами, как рефери.

— Брейк, — произнес Герц. — Он не тупой, он просто плохо понимает по-русски.

— Как же, — сказал Бузаков. — Все они понимают. Дуру гонят просто, чтоб их лишний раз не дергали.

— Это тем более доказывает, что он не тупой. Че не поделили?

— Я спички не нашел, — сказал Бу-

заков.

— Какие спички? — спросил Герц.

— Которые Тува спрятал здесь. Две штуки. Он считает, что раз мы их не нашли, значит, плохо убирались. Так он проверяет качество.

— Умный ход, Серен-Оол, — похвалил Герц. — Но пацанов надо на первый раз простить.

— Почему? — спросил Куулар.

— Потому что даже если бы они нашли твои спички, то имели право их не убирать. Это мог



<sup>1</sup>Бушлаты (арм. сленг).

быть чей-то тайник, у нас напряженка не только с сигаретами. Пусть лежат, где лежат. Еще претензии к Бузе есть?

— Нет.

— Разойдись тогда.

В 19:00 Герц поднялся на тумбу дневального, взглянул в зеркало напротив и стал заправляться в установленном порядке. Он поправил шапку, провел ладонями по верхним карманам кителя, подтянул ремень по голове, отодвинул тренчик от бляхи на ширину ладони, одернул клапаны нижних карманов кителя. Проделав это, Герц согнул левую ногу в колене, перенес вес тела на правую и замер до отбоя, как памятник.

Герц был на своем месте. Когда он стоял на тумбе дневального, его называли диджем. У него была отличная память, поэтому, находясь на перекрестке казарменных дорог, он всегда точно знал, где находятся все офицеры и

сержанты и почти все курсанты. По выражению лиц и походкам людей он угадывал их настроения и желания и отрывисто выкрикивал, что, кому и когда надо сделать, чтобы всем и каждому было хорошо и спокойно в течение его наряда. «Герц рулит», — с уважением говорили все.

Через три часа Герц даст команду «отбой» и всерьез будет охранять страну. Еще на первом месяце службе он задаст каждому батарейцу вопрос: «Что для тебя Родина?» И никто не сможет ответить. Тогда он сузит вопрос и спросит ребят, какие ассоциации возникают у них с этим словом.

Все пятьдесят ассоциаций он по обыкновению выстроит перед собой в ряд. От баньки рядового Замятина до дорогого рядовому Коломейцу кота Васьки, которого уже десять лет нет в живых...

1 сентября 2010 года

